

Дорогая Оля,

прежде всего иного: я получил от Вас, во-1-х, письмо от 14 июня из Stift Geras, во-2-х, через несколько дней после этого пустой раскрытый конверт, на коем Вашей рукою был написан мой адрес, но внутри не было ничего, так что я остался в недоумении. Должно ли полагать, что одно письмо пропало?

Очень рад, если книжечка про Рильке пригодилась. С интересом читал Ваш с Володей альманах, вас обоих читать (и даже перечитывать) всегда интересно, — только уж больно С. Хоружий, как бы это сказать: должен сознаться, что не понимаю, в чем соль шутки, и еще менее понимаю, зачем бы это было печатать... Вообще, *sit venia verbo*, альманаху не грех было бы уж скорее быть потоньше, но более тщательно подобранным. Что до Володиного тезиса о паламизме как исламском влиянии, такие ответственные заявления как-то странно делать в сугубо односложной проходной фразе по поводу чеченской войны. Дело даже не в респекте к предмету, дело в респекте к читателю, которому не дают мысленно переспросить, мимо носа которого осуществляется стремительный переход к следующей теме; мне кажется, что в этом пункте "либерал" в хорошем пушкинском смысле должен быть особенно осторожен, предоставляя роскошь авторитарного лаконизма своим оппонентам... Ну, читаю я в микроотрывке "Вера и культура", что не имело раннее христианство по причине своей райской цельности "никакого отношения к культуре" (с. 273); а как, когда апостол Павел предостерегает против философия (Кол. 2, 8), когда Юстин и Тертуллиан заявляют такие контрастирующие точки зрения на ценность философской традиции, когда старец Памва пытается запретить монахам даже церковное пение, — о чем шла речь? Я не настаиваю на слове "культура", мне даже кажется особенно важным, что и язычники называли свою "пайдейю" иными словами, что всеевропейский подъем под немецким влиянием слова "культура" во 2-й пол. 19 и в 1-й пол. 20 в. недаром вызывал у Вяч. Иванова, как и у ряда вдумчивых французов и англичан, — аллергию; но когда нет никаких разъяснений касательно объема понятий и оттенков слов, а просто читателю сообщается, что не было у них *отношения* к культуре, потому что они были выше этого, — это то, что я позволил себе назвать авторитарным лаконизмом. Ну вот, я что-то в придирчивом настроении. Но ведь к книжке никто нынче не станет в таком смысле придираться; скорее будут отмечать нарушения *political correctness* (кажется, в "Русской Мысли", в отклике сравнительно мирном, Вам был прочитан выговор за неполиткорректное отношение к пост-модерну), будут проклинать и прочая, только не переспрашивать. Но разве людей не надо учить именно переспрашивать, и для этого переспрашивать самих себя?

Вопросы — не возражения, а именно переспросы: правда ли, Оля, что отличие России от Европы — не просто в отсутствии достаточно прочной и давней традиции автономной университетской коллегиальности (хотя в моем отце и его друзьях она была), но именно в том, что "в России все, не только ученые и поэты, но и монахи-затворники, служили России"? Почему же тогда в 1914 г. именно в Европе первоклассные ученые, как хотя бы Виламовиц-filius, и первоклассные поэты, как Шарль Пегги, с исключительной естественностью пошли гибнуть за Германию и Францию, а в России на фронт пошел только чужак Гумилёв, да и то как раз без этой естественности, а так, словно в Африку к львам? Маринетти и Маяковский — оба монстры примерно одной породы; но первый на фронт пошел, да еще как, а второй — ну ни за что. Как изменились обстоятельства с наполеоновских войн, когда даже хилый Батюшков и нежный Жуковский были на фронте и не видели в этом ничего особенного. Может быть, это доказывает, что русская литература умнее, чем европейские, и интуитивно поняла, что в этих играх участвовать не стоит; во всяком случае, она оказалась хитрее. С наивностью *приносили себя в жертву* всё-таки они, не наши литераторы. В каждом отдельном случае всё вроде бы ясно — скажем, Эрн, плававший русским патриотизмом жарче и наивнее всех (шведская фамилия, как-никак), был вправду очень серьезно болен, недаром в 1917 он умер; но почему не нашлось другого тех же мыслей, но поздравнее? Или уж так неизбежно российскому патриоту быть еще и физически тяжело больным?

Что касается Вашего вопроса о правде секуляризма &c., могу только повторить то, что говорил однажды в таком центре воинствующего секуляризма, как парижская Academie Universelle des cultures: я тогда заявил, что готов всячески уважать секулярность и laïcité современности, как факты, имеющие права, принадлежащие всему реальному, но в секуляризме (qua "-изме") усматриваю идеологическое покушение, которое отвергаю. Думаю, что я имел право сказать то и другое; когда я стараюсь, например, в профессиональных отношениях исходить из профессиональных критериев, я проявляю уважение к секулярности — однако секуляризм есть нечто иное. Оля, ну разве можно исходить из дихотомии: либо "свобода наслаждаться аморалкой", либо "соображения совести", tertium non datur? Разве весь наш опыт с наблюдением других и с самонаблюдением не убедил нас, что как раз в середине почти всё и располагается? И вопросы "неужели неспровоцировано, беспричинно?" и "по совести ли" — страшно разные. Возьмем крайний случай: и большевизм был уж никак не беспричинен, и нацизм (которому предшествовало нестерпимое издевательство тогдашних французских властей над побежденной Германией). Это не значит, что я сравниваю Ваших собеседников с большевиками и штурмовиками (хотя парадокс бескровно тоталитаризирующегося либерализма сегодняшней

реальности вовсе не чужд). С другой стороны, я думаю, что мы, прислушиваясь к словам наших новых собеседников, не должны забывать всё то, что знали прежде. Неужели в большом масштабе складывается для Запада XX в. картина насильственного торжества веры? Неужели хоть и в послевоенное время на Западе интеллектуалу было выгодно быть верующим? К.С. Льюис написал, худо-бедно, ряд профессиональных трудов, минимум один из которых — "Allegory of Love" — фигурирует в любой приличной библиографии по средневековой литературе, сам видел; но вот ранг оксфордского профессора был для него недоступен, пришлось под конец жизни переехать в Кембридж. Оля, я однажды разговаривал с одним человеком, учившимся у Льюиса и его от души презиравшим; этого ни с чем не спутаешь — отнюдь не озлобленность на преподавателя как на некую силу, скажем, что-то навязывавшую, а именно неподдельное презрение к слабаку, который и одеться-то не умел, и вообще имел в себе что-то не такое, стародеревенское. Или взглянем в список нобелевских лауреатов (говорю именно о Prix Nobel именно потому, что она всё-таки десятилетиями давалась довольно продуманно): знаменитый автор "Гимна Сатане" там так же неизбежен, как абсолютно невыносим хотя бы Клодель. (Обычно бесполезно спрашивать, почему там нет таких-то лириков, скажем, Рильке, — поэты чаще живут недолго, их поэзия в качестве поэзии непереводаема, и такие языки, как, скажем, немецкий, члены Комитета не обязаны знать; но к казусу Клоделя как раз все эти объяснения неприменимы — он-то был не только лириком, а и признанным по всему свету драматургом, жил он на редкость долго, и даже французский в его времена еще полагалось знать. Впрочем, и членом Франц. Академии он смог стать только со второго захода, совсем под конец жизни. Что говорить — "*католическая горилла*", как он был поименован в одной левой газете, что я знаю из его собственного дневника.) Да ведь и Бернанос невозможен, и вообще все французские католики. Вот Хемингуэй, или Сартр, или Неруда — другое дело. Всё-таки *les sovietiques* были уж не кругом неправы, когда уверяли, что указуют путь всему миру. Г. Бёлль — это предел католичности, допустимой в нобелевском лауреате. И, Оля, Вы же сами отлично сказали о "гонении равнодушием", исчерпывающе сказали!

Говоря всё это, я вовсе не хочу утверждать, что где-нибудь в масштабах, микроскопических для истории, но вполне достаточных для личной судьбы, какие-нибудь католики не брали на службу никого, кроме своих и т. п. Это как читаешь в письмах Андрея Белого: во всю идут раннесоветские годы, а для каких-то актеров (и для самого Бориса Никол.) самая острая проблема — что актеров-антропософов страсть как обижают актеры-розенкрейцеры. Через 5 минут посадят тех и других, но пока, пока — страшнее кошки зверя нет. Так может, и у Павлика Морозова, прости Господи, были причины обижаться на авторитарно-репрессивные замашки старших, откуда я знаю? Из подобных тем

верующий человек может вывести сугубо лично для себя увещание быть поосторожнее и не махать руками, — но что можно еще вывести, не знаю.

Я не хочу также сказать, будто уж совсем не понимаю психологических проблем послевоенного политического католицизма в Германии Аденауэра и в Италии Альчиде де Гаспери. Что говорить о левяке Бёлле, когда героический Рейнхольд Шнейдер, под конец гитлеризма тяжело больным ожидавший в тюрьме смертной казни, от коей был избавлен только приходом союзников, человек с симпатиями романтично-монархическими, после духовного подъема в пору гонений ощутил что-то вроде сомнений в вере именно после 1945 г. Конец гонений — вообще переживание опасное. Но со всеми оговорками на этот счёт не могу, не могу сказать о католицизме той поры ничего существенно дурного. Кстати, к этому же политическому католицизму относится на правах мыслителя и Маритен, страшно нужный (ввиду своего бескомпромиссного отрицания фашизма) тогда — и с полной неблагодарностью вытесняемый сегодняшним сознанием (в толстом разделе о неотомизме в толстейшей книге Г. Кюнга Маритена нет даже в индексе имен!) В достаточно драматический момент нужны были люди, одинаково несовместимые ни с чем фашистским и ни с чем коммунистическим: и вот для этого понадобились католики тогдашней закваски. (Естественно, Ваши итальянские собеседники нечувствительны к тому, до чего Италия была в какой-то момент близка к тому, чтобы пойти под руку Сталина [когда уже министром юстиции был коммунист, подаривший, м. пр., посольству СССР виллу Абамелек, когда-то завещанную русским художникам в Риме], и что это означало бы — но у нас с Вами всё-таки другой опыт.) Политики — species, к которой у меня любви не может быть; но уважение к католическим политикам Аденауэру и де Голлю у меня есть. А если говорить не о политиках, если у меня есть что-то вроде "корней", то они лежат в той поре, когда Ганс Урс фон Бальтазар в одной статье объяснял, как после крушения тоталитарно-утопических попыток взорвать человеческую меру мы должны восстанавливать чувство этой меры, когда к своей деятельности возвратился Романо Гвардини, когда все еще отчетливо помнили, что в пору гитлеризма недовольные переписывали от руки не кумиров теперешней political correctness, а сонеты того же Р. Шнейдера... (Оля, разве не das offene Geheimnis современной западной жизни — что честь моральной победы над гитлеровщиной украдена небитыми и непуганными поколениями, которых там, по ахматовскому словечку, "не стояло", но которые зато знают, как неправильно мыслили и выражались герои — и вот уже любой Лёзов будет объяснять, до чего реакционны были взгляды отдавшей свою жизнь Матери Марии, и вот уже получается, что Католическая Церковь, единственная институция, последовательно осудившая в час общего молчания расовую теорию и заплатившая сто-

лькими жизнями своих представителей, виноватее всех по части компромиссов, &c, &c.? Должен сознаться, что по этой же логике различения между полной гибелью всерьез и ее отсутствием не могу примириться с приравнением у Володи на с. 297 Парижа и Праги 1968 — в Праге-то рисковали, подставлялись под удар, а чем рисковали в Париже? Всё-таки разница, которую где-нибудь еще могут уже и не чувствовать, но мы как будто вынуждены чувствовать.) Возвращаясь к католицизму 50-х: ведь именно тогда, с участием таких людей, как тот же Маритен, было окончательно преодолено столь живое у нас искушение поставить в борьбе за веру на что-нибудь монструозно-правое (как еще в конце 30-х от весьма понятной боязни Народного Фронта ставили на Петена, от которого, впрочем, тогда не ждали политики прогитлеровской). С такими возможностями покончили тогда, в старомодно-неотомистском дискурсе, не дожидаясь II Ватиканского Собора. Что до Собора, ясно, что его можно было созывать никак не раньше (и не позже), а только на гребне всё того же послевоенного внешнего авторитета католицизма, ибо в любое иное время — от комбизма начала века до гитлеровской борьбы с "темными людьми" (когда гитлеровский посол на интронизации Пия XII вслух говорил коллегам: "Красивая церемония, любуйтесь в последний раз, — следующей мы не допустим!"), или сегодня — это было бы принято миром не как реформа, не как обновление, а только как безоговорочная капитуляция. И всё-таки до сегодняшнего дня Католическая Церковь — совсем единственная на свете религиозная организация, которая ex cathedra признает неправоту каких-либо своих прежних решений. Как ни относиться к такому декларативному уровню, но ведь этого не делает никто и ни за что, даже и на Западе, не говоря о прочих краях.

Ну вот, простите мне многословие. Был бы благодарен за ответ (по московскому адресу, где мы будем с 27-го, е.б.ж.).

С сердечным пожеланием всякого блага свыше
и с приветствиями от Наташи

Ваш *Саввинцев*

P.S. Написав письмо давным-давно, решил, что из Москвы посылать его будет надежнее; а в Москве некоторое время имел проблемы с printing (по моему техническому идиотизму и отсутствию знакомых в Москве).